

М. О. ГЕРШЕНЗОН

СТАТЬИ О ПУШКИНЕ

Со вступительной статьей
Леонида Гроссмана
ГЕРШЕНЗОН—ПИСАТЕЛЬ

Тень Пушкина

В стихотворении «Воспоминание в Царском Селе», 1829 года, упомянув о сподвижниках Екатерины, чьи памятники стоят в Царскосельском саду, Пушкин говорит:

Садятся призраки героев
У посвященных им столпов.

Если эта метафора, то, надо признаться, слишком смелая. Но все стихотворение так серьезно и грустно, да и вообще об эту пору поэтический стиль Пушкина был уже настолько трезв и строг, что предположение о пустой игре образом приходится оставить, как мало правдоподобное. Итак, странные эти два стиха написаны Пушкиным, повидимому, совершенно серьезно. Что же они выражают?

Дикарь верит, что душа умершего становится существом особого рода — призраком, что она сохраняет связь со своей бывшей земной обстановкой и что поэтому призрак покойного носится вокруг его бывшего дома, дает о себе знать родичам и т. п. У Гомера тень убитого Патрокла, „подобная дыму“, является его земному другу Ахиллесу. Пушкин говорит совершенно то же:

Садятся призраки героев
У посвященных им столпов.

Мы сейчас увидим, что такое понимание этих двух стихов вполне верно, и вместе убедимся и в том, что Пушкин действительно разделял с бушменами и фиджийцами их веру в „духов“ умерших людей.

В писаниях Пушкина трижды за разные годы встречается необычайное выражение „тайны гроба“: во второй песне «Онегина», 1823 г. — „И гроба тайны роковые“; в «Воспоминании» 1828 г. — „О тайнах счастья (или — вечности) и гроба“, и в «Заклинании», 1830 г. — „Иль чтоб изведать тайны гроба“. Предвосхищая дальнейшее изложение, скажу теперь же, что

вопрос о загробном существовании стал тревожить Пушкина удивительно рано, лет с 16-ти или 17-ти, что в дальнейшие двадцать лет своего творчества он многократно возвращался к этому вопросу, и что мысль его об этом предмете на всем протяжении лет была одержима сомнением. Самый вопрос предстоял ему в такой форме: во-первых, умирает ли человек совсем, не только телом, но и душою, или же личность умершего сохраняется, принимая лишь иную форму, не материальную, и продолжает существовать в виде „тени“, „призрака“? Во-вторых, если человека переживает его „тень“, то эта „тень“ сохраняет ли свои прежние, земные чувства и отношения, или она отрешается от всего земного и всецело погружается в запредельную бесчувственность и беспомысленность по отношению к миру и своей прошлой жизни в нем? Логически здесь были два отдельных вопроса; психологически, в чувстве Пушкина оба сводились к одному: тень бесчувственная была для него мертва, потому что в ней погашена индивидуальность; для него было важно только загробное переживание конкретного „я“, т. е. сохранение в призраке тех самых чувств, желаний, привязанностей, которые при жизни составляли эту единственную личность, например, его, Пушкина. Я покажу дальше, как колебался он между обеими альтернативами и куда склоняла его неодолимая потребность верить. Он не знал того метафизического ухищрения, в силу которого будто бы должно различать в живом человеке два „лица“: чистый, умопостигаемый — и эмпирический, погруженный в вещественность, вместилище страстей и греха. Он ощущал себя со своими страстями и думами, как простое и неразложимое единство, и таким хотел жить вечно.

В 1829 году, в отброшенной потом строфе стихотворения «Брожу ли я вдоль улиц шумных», Пушкин писал:

Кружусь ли я в толпе мятежной,
Вкушаю ль сладостный покой,
Но мысль о смерти неизбежной
Везде близка, всегда со мной.

Это „всегда“ надо понимать очень распространительно: мысль о смерти была ему близка с отроческих лет. И это была действительно мысль, размышление.

Как раз в ранние годы он много размышлял на эту тему философически и эти свои раздумья несколько раз излагал в поэтической форме. Позднее он уже не рассуждал о смерти,

за явной безнадежностью таких размышлений, а только утверждал, или отрицал, или оставлял вопрос нерешенным.

Впервые его рассуждающее мышление о смерти отразилось в стихотворении «Безверие», 1817 года. Но здесь он еще не ставит Гамлетовского вопроса: какова загробная участь души? Напротив, объективное содержание этого вопроса он оставляет в стороне. Он рассуждает вполне утилитарно: верить в загробное переживание личного „я“ — в высшей степени утешительно, безверие же, лишенное надежды, ужасно; горе тому, кто мыслит смерть как окончательное угасание личности! Такому человеку страшно умирать, и в утрате близких ему нет утешения.

Итак, верить в посмертную жизнь души — выгодно. Разумеется, мысль Пушкина не могла остановиться на этом; за выгодой и невыгодой выросал вопрос об истине. Вот два убеждения, исключаящих друг друга: надо принять то из них, которое верно, хотя бы оно и леденило душу. И Пушкин принялся рассуждать.

Особенно упорно он размышлял об этом предмете, видимо, в 1821 — 1823 г.г., когда и был им написан ряд стихотворений на тему о смерти. Но о чем он мог размышлять? В том вопросе, который занимал Пушкина, человек равно лишен и фактических данных, и логических доводов, на которых он мог бы обосновать свой ответ. Здесь решение беспрекословно диктуется личным чувством, безотчетной верой, если только человек сумеет расслышать в себе голос своей подлинной воли. И Пушкин действительно не мыслит: он только допрашивает себя, он как бы снова и снова примеряет на себя веру и отрицание, чтобы познать себя в этой точке мировоззрения.

Свой основной вопрос о смерти Пушкин полностью поставил перед собою в стихотворении 1821 года «Война».

Кончину ль темную судил мне жребий боев,
И все умрет со мной: надежды юных дней,
Священный сердца жар, к высокому стремленью,
Воспоминание и брата, и друзей,
И мыслей творческих напрасное волненье,
И ты, и ты, любовь?...

В этом весь вопрос: угаснет ли личность со всем, что наполняло ее живую, что сейчас, в эту минуту, образует ее бытие? Эта возможность немислима, невыносима. И в особенности невозможно вынести мысль, что угаснет то чувство, которое сейчас составляет как бы огненный центр личности, — любовь, вот эта, моя любовь, к этой определенной женщине.

Первое как бы произвольное движение Пушкина — отбросить эту мысль, воскликнуть: „не верю! этого не может быть! С предвидением „ничтожества“, т. е. полного уничтожения личности, жить нельзя“. Но характерно, что стихотворение, в котором он хотел излить это свое чувство, осталось неконченным; я говорю о малоизвестном отрывке, который исследователи относят к 1822 году:

Ты, сердцу непонятный мрак,
Приют отчаянья слепова,
Ничтожество! пустой призрак,
Не жажду твоего покровя!
Мечтанья жизни разлюбя,
Счастливых дней не зная от века,
Я все не верую в тебя,
Ты чуждо мысли человека.
Тебя страшится гордый ум.
Так путник, с вышины внимая
Ручьев Альпийских вечный шум
И взоры в бездну погружая,
Внезапным ужасом томим,
Дрожит, колеблется — пред ним
Предметы движутся, темнеют,
В нем чувства холодные немеют,
Кругом оплота ищет он,
В очах все меркнет, исчезает,
И обморок, как смертный сон,
На край горы его бросает...
Конечно, дух бессмертен мой.
Но, улетев в миры иные,
Ужели с ризой гробовой
Все чувства брошу я земныя
И чужд мне станет мир земной?
Ужели там, где все блистает
Негленной славой и красотой,
Где чистый пламень пожирает
Несовершенство бытия,
Минутных жизни впечатлений
Не сохранит душа моя —
Не буду ведать сожалений,
Тоску любви забуду я?
Любови! но что же за могилой
Переживет еще меня?
Во мне бессмертна память милой —
Что без нее душа моя?
Вы нас уверили, поэты,
Что тени тайною толпой
От берегов печальной Леты
Слетаются на брег земной,
Что с умилением посещают
Места, где жизнь была милей,
И в сновиденьях утешают
Сердца покинутых друзей.
Они, бессмертные вкушая,

В Элизий ждут их,
Как в праздник ждет семья родная
Замедливших гостей своих...
Мечты поэзии прелестной,
Благословенные мечты!
Люблю ваш сумрак неизвестный
И ваши тайные цветы.
Зачем не верить вам, поэты?

Это — не рассуждение, это крик ужаса пред „ничтожеством“. Нарисовав себе картину полного уничтожения, поэт с содроганием отворачивается от нее и судорожно цепляется за надежду, подаваемую поэтами, не спрашивая, на чем основаны их уверения, веря только потому, что не поверить — слишком страшно. В черновой этого стихотворения его чувства выражены отчасти еще ярче, например, в этих строках:

(Забить) забыть любовь!
(Мою любовь!) но что же за могилой
Переживет еще меня?
Он мой, он вечен, образ милой,
Бессмертен, как душа моя!

или:

Что без него душа моя!

И в другом месте:

Мечты поэзии прелестной
(Я вас люблю)

или:

Я верю вам.

Это голос сердца — разуму здесь вовсе не дано слова. Но он скоро заговорит. К 1823 году относят следующие два наброска, где робкое сердце точно молит о пощаде, но ум властно изрекает свой неумолимый приговор.

Придет ужасный миг... твои небесны очи
Покроются, мой друг, туманом вечной ночи,
Молчанье вечное твои сомкнет уста —
Ты навсегда сойдешь в те мрачные места,
Где прадедов твоих почуют мощи хладны;
Но я, дотеле твой поклонник безотрадный,
В обитель скорбную сойду я за тобой
И сяду близ тебя недвижимый и немой...
Лампада бледная твой труп осветит,
Мой взор движенья не заметит,
Ни чувства нежного, ни гнева на лице.
Коснусь я хладных ног, к себе их на колени
Сложу и буду ждать... чего?
Чтоб силою мечтанья моего...

Это горькое „чего?“ звучит безнадежностью. Что мог Пушкин сказать дальше? Попытка нарисовать загробный приход души на зов любящего обрывается на первой же строке, потому что рассудочная мысль леденит воображение — готовый родиться образ тускнеет и гаснет.

В тетради Пушкина, на той самой странице, где внизу, под тонкой чертою, написан этот отрывок, выше набросана в черновом виде 16-ая строфа второй песни «Онегина»:

В прогулке их уединенной
О чем не заводили спор!
Судьба души, судьба вселенной —
На что не обращали взор!
И предрассудки вековые,
И тайны гроба роковые,
Судьба и жизнь — в свою чреду
Все подвергалось их суду.

Так сильно занимала его тогда „судьба души“ — ее посмертная судьба, — что свои раздумья он приписал даже Ленскому с Онегиным. — А на следующей странице тетради написан второй из упомянутых мною отрывков.

Надеждой сладостной младенчески дыша,
Когда бы верил я, что некогда душа,
От гления убежав, уносит мысли вечны,
И память, и любовь в пучины бесконечны,
Клянусь! давно бы я оставил этот мир:
Я сокрушил бы жизнь, уродливый кумир,
И улетел в страну свободы, наслаждений,
В страну, где смерти нет, где нет предрассуждений,
Где мысль одна живет в небесной чистоте...
Но тщетно предаюсь пленительной мечте!
Мой ум упорствует, надежду презирает...
Ничтожество меня за гробом ожидает...
Как! ничего! ни мысль, ни первая любовь!
Мне страшно... и на жизнь гляжу печально вновь,
И долго жить хочу, чтоб долго образ милой
Таился и пылал в душе моей унылой!

В первой редакции было:

Но верить не могу пленительной мечте!
Мой ум упорствует, не верит, негодует...
Ничтожество зовет — невольником мечты — ...
Меня ничтожеством могила ужасает...

Недаром Пушкин в этом самом году написал и своего «Демона». Дух анализа, скепсиса давно гнезвился в нем, мучил ум сомнением, смеялся над его ребяческой верою, — он пытался заглушить этот голос, „пленяя ум обманом“; но с годами демон все больше забирал власть над душою:

Его язвительные речи
Вливали в душу холодный яд;

от него некуда было укрыться, и вот он победил — „он одо-
лел мой ум в борьбе“, говорит Пушкин. Вера была убита
и ничего не осталось.

В замену прежних заблуждений,
В замену веры и надежд

осталась пустота, — бедный клад ненужной истины.

В 1825 году Пушкин переделывает для печати первый из
приведенных выше набросков — «Ты сердцу непонятный мрак». В
черновой 1822 года так беззаветно звучал теплый голос,
веры и сомнению вовсе не дано было слова, — теперь его
голос явно превозмогает веру.

Люблю ваш сумрак неизвестной
И ваши тайные цветы,
О вы, поэзии прелестной
Благословенные мечты!
Вы нас уверили, поэты,
Что тени легкою толпой
От берегов холодной Леты
Слетаются на брег земной
И невидимо навещают
Места, где было все милой,
И в сновиденьях утешают
Сердца покинутых друзей;
Они, бессмертные вкушая,
Их поджидают в Элизей,
Как ждет на пир семья родная
Своих замедливших гостей...
Но, может быть, мечты пустые —
Быть может, с ризой гробовой
Все чувства брошу я земные,
И чужд мне будет мир земной;
Быть-может, там, где все блистает
Нетленной славой и красой,
Где чистый пламень пожирает
Несовершенство бытия,
Минутных жизни впечатлений
Не сохранит душа моя:
Не буду ведать сожалений,
Тоску любви забуду я...

Что до сих пор таилось и нарастало в Пушкине, то теперь
созрело: он сознательно понял свое коренное, не навеянное
со стороны отношение к вопросу о загробной жизни. И это
отношение оказалось не простым, а двойственным: „верить
не могу пленительной мечте“, т. е. мечте о бессмертии лич-
ности, — и в то же время „меня ничтожеством могила ужа-

сает". Истина предстала взору — невозможно отвергнуть ее, но вид ее столь страшен, что нет сил и принять ее. Это раздвоение души, мучительный раздор между мыслью и чувством, проходит отныне скорбной нотой через все творчество Пушкина. Я сказал уже: в свою зрелую пору он больше не рассуждает на эту тему: он только утверждает коротко; и утверждает он попеременно то „низкую истину“ безверия, то „нас возвышающий обман“ веры, который он до конца не мог и не хотел погасить в себе.

Итак, мы найдем в его поэзии два ряда заявлений, один отрицательный, другой положительный, во всей их полярной противоположности. О примирении между обоими, разумеется, не могло быть речи. И так как оба ряда исходили из подлинного грунта его души, то оба начинаются еще задолго до эпохи его самосознания, т. е. 1822 — 1823 годов, и на всем своем протяжении беспрестанно скрещиваются и перемежаются, как две свитые нити. Поэтому нет никакой надобности сопоставлять тот и другой хронологически. Я приведу их раздельно, сперва отрицательный.

«К молодой вдове» 1816 г. Желая ободрить молодую вдову, смущенную во время свидания воспоминанием о муже, он говорит:

Верь мне: узников могилы
Беспробуден хладный сон;
Им не мил уж голос милый,
Не прискорбен скорби стон.
Нет, разгневанный ревнивец
Не придет из вечной тьмы!
Тихой ночью гром не грянет,
И завистливая тень
Близ любовника не станет,
Вызывая спящий день.

«Гроб юноши», 1821 г.

Там, на краю большой дороги,
Где липа старая шумит,
Забыв сердечные тревоги,
Наш бледный юноша лежит.
Напрасно блещет луч денницы,
Иль ходит месяц средь небес,
И вкруг бесчувственной гробницы
Ручей журчит и шепчет лес;
Напрасно утром за малиной
К ручью красавица с корзиной
Идет и в холод ключевой
Пугливо ногу опускает:
Ничто его не вызывает
Из мирной сени гробовой.

«Онегин», седьмая песнь, строфа 11-ая в черновой рукописи, 1827 — 1828 г.

Мой бедный Ленский! За могилой,
В пределах вечности глухой,
Смутился ли певец унылой
Измены вестью роковой,
Или над Летой усыпленной
Поэт, бесчувствием блаженной,
Уж не смущается ничем
И мир ему закрыт и нем?
По крайней мере из могилы,
Не вышла в сей печальный день
Его ревнующая тень,
И в поздний час, Гимену милый,
Не испугали молодых
Следы явлений гробовых.

Характерно для зрелых лет Пушкина, как он затем переделал эту строфу. В первой половине ее поставлен вопрос: почувствовала ли душа Ленского за гробом измену Ольги? Вторая половина не давала ответа — она только констатировала внешний отрицательный симптом. Эту вторую часть строфы Пушкин теперь отбросил, заменив ее шестью стихами совсем на другую тему, — и весьма нескладно: от вопроса о загробном чувствовании речь вдруг перескакивает на отношение живых к мертвому, что вовсе не вяжется с началом.

Так! Равнодушное забвенье
За гробом ожидает нас.
Врагов, друзей, любовниц глас
Вдруг молкнет. Про одно именьье
Наследников сердитый хор
Заводит непристойный спор.

Только в этой связи становится понятным и стихотворение «Череп» 1827 года. По крайней мере, во мне эта длинная пьеса всегда возбуждала недоумение; я находил ее бессодержательной и скучной, не понимал, зачем Пушкин ее написал. Только в ряду его упорных размышлений о загробной жизни «Череп» оживает полным смыслом.

Юмор «Черепа» — маска глубокой боли, Galgenhumor, как говорят немцы; в шутильной форме Пушкин проделывает достаточно мрачный опыт. Если тень влюбленного не приходит наказать изменницу, это кое что говорит о загробном состоянии души. Возьмем другой подобный случай, не менее показательный: покойный барон, предок Дельвига, был грозный рыцарь и при жизни, конечно, никому не дал бы себя в обиду; как жила его душа после смерти, мы, разумеется, не знаем, но ничто не мешает нам думать, что жила и чувствовала: по

крайней мере, мы вправе были бы так думать, пока не представлялось случая проверить наше предположение. Оттого Пушкин, рассказав о смерти барона, говорит:

Барон в обители печальной
Доволен, впрочем, был судьбой,
Пастора лестью погребальной,
Гербом гробницы феодальной
И эпитафией плохой.

Но вот наступает час проверки — случай единственный, в высшей степени решительный; тут то мы узнаем, что делается с душою за гробом. Беспутный студент и вдвойне преступный кистер, вдвойне потому, что он же, по долгу службы, — хранитель склепа, приходят ночью в склеп, чтобы забрать кости барона и унести их домой: студенту, видите ли, захотелось украсить свою комнату скелетом! Что сказал бы барон, если бы при жизни ему представилась даже только возможность такого надругательства? Легко представить себе изумление и потом ярость, которые овладели бы им; он топал бы ногами, ревел бы на весь замок: Unerhört! и наконец успокоился бы на мысли, что и мертвый он не даст себя в обиду и жестоко проучит нахалов. Доведа рассказ до решительной минуты, когда студент и кистер, сойдя в подвал, уже готовы при свете факела приступить к своему кошунственному делу, Пушкин точно минуту ждет: ну ка, что сделает барон? — и затем вдруг обрывает стихи и продолжает в прозе: ничего не произошло; барон мертв, в есь мертв, не только телом. Вот эти строки, в которых под насмешкою затаена меланхолия: „Я бы никак не осмелился оставить рифмы в эту поэтическую минуту, если бы твой прадед, коего гроб попался под руку студента, вздумал за себя вступить, схватя его за ворот, или погрозив ему костяным кулаком, или какнибудь иначе оказав свое неудовольствие; к несчастью, похищение совершилось благополучно. Студент по частям разобрал своего барона и набил карманы костями его. Возвратясь домой он очень искусно связал их проволокою, и таким образом, составил себе скелет очень порядочный“. И дальше судьба баронова скелета — судьба любой вещи: студент, уезжая из Риги, раздарил его по частям, большая часть костей досталась аптекарю, потом Вульф, приятель Пушкина и Дельвига, получил баронский череп в подарок и держал в нем табак, а теперь подарил его Пушкину, который и посылает его Дельвигу, как потомку барона, советуя обделать его в „увеселительную“, т. е. винную чашу и запивать из него уху да кашу. — Можно подумать, что Пушкин заимствовал тему своего «Череп» у Шекспира — из того места „сцены на

кладбище“, где Гамлет говорит о черепе приказного: „Где теперь его кляузы, ябедничества, крючки, взятки? Зачем терпит он толчки этого грубияна (могиальщика) и не грозится подать на него жалобу о побоях?“

Но самому Пушкину этот череп, как предмет грандиозного, хотя и воображаемого эксперимента, говорит многое. Оттого он и кончает стихотворение словами:

О, жизни мертвый проповедник,
Вином ли полный иль пустой,
Для мудреца, как собеседник,
Он стоит головы живой.

Этот череп проповедует именно не о смерти — он говорит нам о бренности, о призрачности всего, что составляет нашу жизнь, чем полон наш дух при жизни. Любовь Ленского, гордое самосознание барона — огненные фокусы их личности, горевшие так сильно, что казались вечными, — смерть мимоходом погасила их, как ребенок слабым дыханием гасит пламя спички; вспыхнули, погорели миг, и погасли — и так погаснет все, чем горит мой дух, Пушкина. Какая же цена радости и муке этого горения, какая может быть существенность в моей любви, в моих думах, в „мечтаньях золотого сна“, которые смерть развеет бесследно? В шестой песни «Онегина», рассказав о смерти Ленского, Пушкин опять — уже который раз! — ставит свой неотвязный вопрос:

Увял! Где жаркое волнение,
Где благородное стремление
И чувств, и мыслей молодых,
Высоких, нежных, удалых?
И жажда знаний и труда,
Где бурные любви желанья,
И страх порока и стыда,
И вы, заветные мечтанья,
Вы, призраки жизни неземной,
Вы, сны поэзии святой?

Все сгнуло, „исчезло в урне гробовой“! А если так, то стоит ли гореть, отдаваться страсти, желаниям, надеждам? Эти мысли впадали в одно русло Пушкинского духа, — в то настроение, когда жизнь казалась ему бессцельной ездой „до ночлега“, когда он писал о себе: „Сердце пусто, празден ум“ и людские поколения называл „мгновенной жатвой“, которая по воле провидения „восходит, зреет и падет“.

Биография Пушкина, воспоминания о нем людей, его знавших, особенно же самая поэзия свидетельствуют о том, что в его жилах текла горячая кровь. Необычайная страстность темперамента выделяла его среди людей всю жизнь. Его восприимчивость была, без сомнения, исключительно чутка, впечатления необыкновенно глубоки и ярки. Он влюблялся быстро и любил пламенно, терзался жгучей ревностью, желал необузданно. Конкретность его чувства удивительна; где пред взором заурядного человека действительность проходит безликой серой вереницей призраков, там Пушкин осязал плоть явлений, отчетливо видел их лица в их острой индивидуальности, и страстно внедрялся в каждое. Обычное состояние его духа было как раз противоположно тому, которое он описывает словами: „сердце пусто, празден ум“. Напротив, его чувство и ум почти всегда были полны и деятельны, и всякое сильное впечатление овладевало им всецело, как бы до краев наполняло его волнением; недаром он сам говорит о „пламенном волнении“ и „бурях“ души своей („... что пламенным волнением — и бурями души моей“ ...).

Но возбужденное состояние духа не совместимо с критикой и самооценкой. Чем полнее чувство, тем увереннее оно ощущает себя непреложным и неистребимым. Возбужденное чувство как будто принуждает мысль освящать себя, и мысль послушно исполняет верховный приказ: она подтверждает чувству, что оно — действительно подлинное, органическое чувство, что оно донельзя существенно и, стало быть, „вечно“; так всякий влюбленный убежден, что любит навсегда. Когда же пыл чувства разгорается в страсть, тогда легко опрокидывается и последняя, казалось — несокрушимая преграда — мысль о неизбежной смерти. Страсть в зените не может мыслить себя зависящей от каких либо земных условий, например, о бренности тела: она уверенно знает себя безусловной, ничему не подвластной, следовательно, бессмертной.

Человеку такого огненного темперамента, как Пушкин, должна была казаться невыносимой мысль, что то или другое чувство, так страстно переживаемое им, быть может, много лет, что замысел, лелеемый им, как святыня, с его плотской смертью угаснут сразу и бесследно; и мы видели, как сжималось его сердце каждый раз, когда эта мысль представляла его уму. Но легко понять также, что она могла пугать его только в минуты душевной вялости, какие посещают каждого человека. Бодрствующий или возбужденный, обуреваемый каким либо чувством или в часы вдохновения, он, естественно, ощущал, как реальность, самое это чувство или творческую идею свою, а ту мысль о неминуемом угасании всякого чувства

в смерти, — хотя она и стояла в сознании, ощущал, конечно, как нечто призрачное, как алгебраическую формулу, о которой знаешь, что она верна, но помнишь ее равнодушно. Так Пушкин в возбужденном состоянии совершенно забывал закон смерти, словно никогда не знал его, словно не терзался им столько раз.

И вот оказывается, что небольшому числу отрицательных заявлений, которые приведены выше, противостоит в поэзии Пушкина такое подавляющее количество заявлений положительных, что первые кажутся только редкими прорехами в сплошной ткани последних. Пушкин даже не заботится утверждать личное бессмертие: таких мест у него два — три; он просто исходит из аксиомы о личном бессмертии, эта аксиома составляет как бы невидимый, незыблемый в его уме фундамент, на котором он воздвигает свои художественные образы, — до такой степени его дух в глубине не затронут сомнением! Больше того: его вера (если такое беззаветное знание еще можно называть верою) настолько полна живых соков, что, к изумлению зрителя, расцветает конкретными подробностями; мы увидим ниже, что он не только изображал посмертное явление теней, но даже умел рассказать кое-что об их внешнем виде и склонностях.

Сказанное сейчас на первый взгляд покажется, конечно, парадоксом. Можно ли поверить, что Пушкин с его острым и несомненно трезвым умом, образованный человек 19-го века, был предан такому грубому, необузданному мистицизму, верил в существование посмертных призраков и в их сношения с живыми людьми? Без сомнения, говоря о „теньях“, он либо выражается метафорически, либо рисует психологическое состояние яркого воспоминания об умершем, подчас действительно близкого к галлюцинации. Так подумает читатель.

Но изъявления Пушкина совсем недвусмысленны: в них нет ни метафорического, ни психологического смысла; не подлежит ни малейшему сомнению, что он верил в объективное существование призраков. Вот «Заклинание», 1830 года, дышащее глубокой грустью и нежностью; можно ли говорить серьезнее? Пушкин вызывает тень умершей, но все еще любимой женщины:

О, если правда, что в ночи,
Когда покоятся живые
И с неба лунные лучи
Скользят на камни гробовые,
О, если правда, что тогда
Пустеют тихие могилы —
Я тень зову, я жду Лейлы:
Ко мне, мой друг, сюда, сюда!

Явись, возлюбленная тень,
Как ты была перед разлукой,
Бледна, холодна, как зимний день,
Искажена последней мукой.
Приди, как дальняя звезда,
Как легкий звук, как дуновение,
Иль как ужасное виденье, —
Мне все равно: сюда, сюда!

Он начинает нетвердо, но его сомнение длится лишь миг; или оно — только формальная оговорка? Ведь с первых слов чувствуется, что он верит, — и так беззаветно звучит его страстный призыв: „Ко мне, мой друг, сюда, сюда!“

Он пишет вполне положительно, как бы о вещи естественной и всем известной:

... Но и в дали, в краю чужом,
Я буду мыслию всегдашней
Бродить Тригорского кругом,
В лугах, у речки, над холмом,
В саду, под сенью лип домашней.
Когда померкнет ясный день,
Одна, из глубины могильной,
Так иногда в родную сень
Летит тоскующая тень
На милых бросить взор умильный.

(П. А. Осиповой, 1825 г.).

Он говорит («На смерть Ризнич», 1825 г.):

Под небом голубым страны своей родной
Она томилась, увядала,
Увяла, наконец, и верно надо мной
Младая тень уже летала.

Тень для него — не умственный образ, а реальное существо, слышащее и чувствующее.

Меж тем, как изумленный мир
На урну Байрона взирает
И хору Европейских лир
Близ Данте тень его внимает,
Зовет меня другая тень,
Давно без песен и рыданий
С кровавой плахи в дни страданий
Сошедшая в могилу сень.
Певцу любви, дубрав и мира,
Певцу возвышенной мечты
Звучит незнамая лира,
Пою. Мне внемлет он и ты.

(Андрей Шенье, 1825 г.).

Стихотворение посвящено Н. Н. Раевскому. Итак, Пушкина слушают двое: тень Шенье и живой Раевский; положительнее нельзя выразиться. Такой же объективный и конкретный образ нарисован в стихотворении «Баратынскому из Бессарабии», 1822 г.

Еще донныи тень Назона
Дунайских ищет берегов;
Она летит на сладкий зов
Питомцев муз и Аполлона,
И с нею часто при луне
Брожу вдоль берега крутого...

И тот же смысл — в стихах, уже приведенных выше:

Садятся призраки героев
У посвященных им столпов.

Конечно, ничем другим, как именно верою в объективность теней, в их внешнее существование, объясняются многочисленные обращения Пушкина к теням умерших — к тени Овидия, Кутузова и др., особенно «Закливание» и «Для берегов отчизны дальней», эти страстные воззвания к умершей возлюбленной. Одно из таких обращений, как известно, даже и озаглавлено прямо — «К тени полководца», и всюду конкретность видений доведена почти до осязательности; напомним, кроме цитированного уже «Закливания», эти стихи из обращения к Кутузову:

Внемли ж и днесь наш верный глас:
Встань, спасай царя и нас,
О старец грозный. На мгновенье
Явись у двери гробовой —
Явись: вдохни восторг и рвенья
Полкам, оставленным тобой.

Имея пред собою такой длинный ряд определенных и исключаящих всякое сомнение фактов, нелегко решить, какой смысл вложен Пушкиным в иные его заявления о тенях, менее ясные, наполовину метафорические. Вот два примера таких неопределенных описаний.

Из «Бахчисарайского фонтана», 1822 г.:

Дыханье роз, фонтанов шум
Влекли к невольному забвенью,
Невольно предавался ум
Неизъяснимому волненью,
И по дворцу летучей тенью
Мелькала дева предо мной...

Чью тень, о други, видел я?
Скажите мне, чей образ нежный
Тогда преследовал меня,
Неотразимый, неизбежный?
Марии ль чистая душа
Явилась мне, или Зарема
Носилась, ревностью дыша,
Средь опустелого гарема?

Еще ближе, кажется, к чистой психологической метафоре следующее изображение (Воспоминание, 1828 г.)

И нет отрады мне — и тихо предо мной
Встают два призрака младые,
Две тени милые — два данные судьбой
Мне ангела во дни былые,
Но оба с крыльями и с пламенным мечем,
И стерегут... и мстят мне оба,
И оба говорят мне мертвым языком
О тайнах счастья и гроба.

Может быть, Пушкин и сам не сумел бы ответить, что он разумел в том и другом отрывке: воплощенные ли души Марии и Заремы и двух женщин, когда то любимых им, или их умопостигаемые образы?

Во всяком случае, представление о загробном воплощении души в тень или призрак до такой степени укоренилось в уме Пушкина, что он сплошь и рядом прибегал к этому образу. Для него было естественно вложить в уста Самозванца такую речь:

Тень Грозного меня усыновила,
Димитрием из гроба нарекла,
и т. д.

— и в уста Скупого рыцаря свой вздох, свои слова:

О, если б из могилы
Прийти я мог, сторожевою тенью
Сидеть на сундуке и от живых
Сокровища мои хранить, как ныне.

В переводе из Анакреона он пишет:

Тартар тени ждет моей,

чего нет ни у Анакреона, ни верно в том подлиннике, с которого он переводил. А. Шенье говорит у него:

Но, тень мою любя,
Храните рукопись, о други, для себя.

Умерший Дельвиг для него —

... в толпу теней родных
Навек от нас ушедший гений, —

об умершем Наполеоне он говорит:

Да будет омрачен позором
Тот малодушный, кто в сей день
Безумным возмутит укором
Его развенчанную тень,

и даже в прозе, в журнальной заметке, называет свои стихи о Барклае де Толли „недостойными великой тени“. Даже цветок, увядая, оставляет по себе свою тень:

Лишь розы увядают,
Амброзией дыша,
В Элизий улетает
Их легкая душа,
И там, где волны сонны
Забвение несут,
Их тени благовонны
Над Летою цветут. (1825 г.).

И во всех этих местах он, может быть, уже безотчетно, рисует тень, как реальное существо: тень сидит на сундуке, тень входит в Тартар, тени собираются толпой, тень можно возмутить, тень розы цветет и благоухает и т. п. Каждое из этих мест в отдельности легко принять за метафору, но общий смысл изречений Пушкина решительно противоречит такому толкованию. Наконец, вполне уясняется дело, если ближе рассмотреть тот образ, который Пушкин неизменно обозначает словом „тень“.

Первое же, самое беглое наблюдение над этим образом поражает неожиданностью, при том двойною. В нем нет ни одной оригинальной черты, ни малейших следов личного творчества. Представление Пушкина о загробной жизни в целом и в частях насквозь традиционно или, вернее, атаквистично; именно так рисовал себе загробную жизнь человек каменного века, так верят и теперь дикари в глубине Африки и Австралии. Можно подумать, что Пушкин узнал этот образ из этнографических книг и присвоил его себе. Но нет: его представление о загробной жизни проникнуто таким живым чувством, оно так органически цельно и стройно в своих частях, и чертит он этот образ в своих стихах так уверенно и четко, что не может быть сомнения: в недрах его собственного духа родилось видение „тени“, и что он умел рассказать о ней, он сам узнал, точно видел своими глазами.

А рассказывает он следующее.

1. В самый миг смерти из умершего человека исходит его тень — существо нематериальное или материальное только в малой степени, — и вместе с трупом переходит в могилу, где впредь и обитает во веки. Так, о тени Шенье Пушкин говорит:

С кровавой плахи в дни страданий
Сошедшая в могильну сень,

и вторично (в черновой рукописи):

Моя младая тень
От плахи... отлетит... без песен, без рыданий.
Ее в подземну сень
Проводят ярый смех и гром рукоплесканий.

Так и тень Кутузова живет в его гробу, Суворов видит плен Варшавы, „восстав из гроба своего“; в стихотворении «П. А. Осиповой» тень летит на землю „из глубины могильной, и в «Заклинании» говорится о пустеющих ночью могилах, откуда тени улетают навещать милых на земле. С необыкновенной смелостью Пушкин говорит, обращаясь к тени Кутузова: „Явись у двери гробовой“. То же говорит Пушкин и в отрицательной форме, например, о Ленском:

из могилы
Не вышла в сей печальный день
Его ревнующая тень,

в стихотворении «Гроб юноши»:

Ничто его не вызывает
Из тихой сени гробовой, и т. п.

2. Внешний и духовный облик личности целиком сохраняется в тени. Пушкин не раз называет тень молодой: в «Воспоминании» — „два призрака младые“, в «Андрее Шенье» — „моя младая тень“, в элегии «На смерть Ризнич» — „младая тень“; тень Наполеона названа развенчанной, тень Ризнич — легковерной. Да тень и есть не что иное, как личность человека, покинувшая тело и облекшаяся в другой, невестственный вид. Те самые чувства и мысли, которые волновали человека при жизни, одушевляют его тень, и они не остаются в ней неизменными, но сохраняют всю пластичность и подвижность прижизненных душевных движений. Дело в том, что, восприняв от живой личности все ее чувства и помыслы, тень через них сохраняет связь с их земными объектами; поэтому, как и в живом человеке, каждое изменение земного объекта

влечет за собою в тени изменение соответственного чувства или помысла. Тень видит, слышит и знает все на земле, что входит в круг ее чувства, и, смотря по тому, что там совершается, она ликует, скорбит, чувствует обиду или ревность и т. п. Ленский за гробом ревнует изменницу — Ольгу („Его ревнующая тень“), тень Заремы, „ревностью дыша“, носится по опустелому дворцу, тени тоскуют по оставленным на земле («П. А. Осиповой»), тень признательна за память о ней («К Овидию»), несправедливый укор возмутил бы тень Наполеона; тень поэта Петрова гордится Мордвиновым: „Тобой гордится он и на брегах Коцита“.

Восстав из гроба своего,
Суворов видит плен Варшавы;
Вострепетала тень его
От блеска им начатой славы.

Словом, тень чувствует так же, как живой человек, и так же, как он, через свое чувство связана с миром живых существ.

3. Мало того: она умеет и сообщаться с этим миром, куда чувство, разумеется, неодолимо влечет ее. Она летает на землю (это выражение повторяется у Пушкина много раз); на земле она либо скользит (тень Овидия), либо носится, т. е. реет (тень Заремы). Летит она туда, куда ее влечет воспоминание, призыв живых и т. п. Тень Ризнич летает над некогда любившим ее поэтом:

Увяла наконец, и верно надо мной
Младая тень уже летала;

призраки героев садятся у посвященных им столпов.

Когда померкнет ясный день,
Одна, из глубины могильной,
Так иногда в родную сень
Летит тоскующая тень
На милых бросить взор умильный.

(П. А. Осиповой).

Еще доныне тень Назона
Дунайских ищет берегов;
Она летит на сладкий зов
Питомцев муз и Апполлона,
И с нею часто при луне
Брожу вдоль берега крутого...

(Баратынскому из Бессарабии).

Но если, обо мне потомок поздний мой
Узнав, придет искать в стране сей отдаленной
Близ праха славного мой след уединенной:
Брегов забвения оставя хладну сень,
К нему слетит моя признательная тень,
И будет мило мне его воспоминанье

(К Овидию).

Шенье говорит своим друзьям: после моей смерти, когда собравшись в кружок, вы будете читать мои стихи,—

я, забыв могильный сон,
Взойду невидимо и сяду между вами,
И сам заслушаюсь, и вашими слезами
Упыюсь... И, может-быть, утешен буду я
Любовью. Может-быть и Узница моя,

и т. д.

4. Как явствует из этих выдержек, тени, по мысли Пушкина, могут прилетать на землю во всякое время; но всего охотнее они выходят из могил ночью и при луне:

в ночи,

Когда покоятся живые
И с неба лунные лучи
Скользят на камни гробовые («Заклинание», сравн. «Баратынскому из Бессарабии», и др.).

5. Тень может оставаться невидимой для живых (как тень Шенье в кругу друзей), но она может и воочию являться тому, кого посещает, при чем она носит либо тот облик, какой носила при жизни, либо какой-нибудь другой. Она может являться человеку и не в человеческом образе, а в виде звезды, звука и т. п. Так в «Заклинании»:

Явись, возлюбленная тень,
Как ты была перед разлукой,
Бледна, хладна, как зимний день,
Искажена последней мукой.
Приди, как дальняя звезда,
Как легкий звук, как дуновение,
Иль как ужасное виденье...

В отрывке 1823 г. «Недвижный страж дремал на царственном пороге» Пушкин единственный раз наглядно изобразил явление тени живому человеку.

Он рек — и некий дух повеял невидимо,
Повеял и затих, и вновь повеял мимо.
Владыку севера мгновенный хлад объял;
На царственный порог вперил, смутясь, он очи —
Раздался бой полночи —
И се внезапный гость в чертог Царя предстал.

Наполеон является Александру I не одряхлевшим, с ранней сединою и потускневшим взором, каким он был перед смертью, — нет:

Во цвете здравия, и мужества, и мощи
Владыке полунощи
Владыка запада грозящий предстоял.

В другой раз Пушкин нарисовал такой же образ в шутку, — но и это характерно для него; я разумею послание к Ден. Давыдову, где под конец, вспомнив о покойном гусаре Бурцеве, известном забуддыге, Пушкин говорит:

И вдруг растрепанную тень
Я вижу прямо пред собою:
Пьяна — как в самый смерти день,
Столбом усы, виски горою,
Жестокий ментик за спиною
И кивер зверски на бекрень.

6. Еще ступенью выше в смысле конкретности стоит тот образ, который нарисован в стихотворении «Для берегов отчизны дальней». В час разлуки любимая женщина утешала его надеждой на будущее свидание, когда они вновь соединят лобзание любви; но в разлуке она умерла — ее обещание осталось невыполненным. Но связь между ними не порвана:

Твоя краса, твои страданья
Исчезли в урне гробовой —
Исчез и поцелуй свиданья..
Но жду его: он за тобой!

Что хотел сказать Пушкин этими загадочными стихами? То ли, что он еще при жизни ждет поцелуя тени? — Это вполне соответствовало бы его представлению. Или еще смелее — что он после смерти встретится с нею, и тень сольется с тенью в поцелуе? Ясно одно: ждать от тени обещанного поцелуя мог только человек, беззаветно веривший не только в личное бессмертие, но и в известную воплощенность загробного существования.

7. Пушкину оставалось сделать еще только один шаг, чтобы довести воплощенность тени до наивысшего предела. Раз личность в загробном состоянии продолжают волновать ее прижизненные чувства, связывающие ее с земными объектами, естественно, что она и оттуда стремится воздействовать на земные дела сообразно со своим чувством; и так как, по мысли Пушкина, она за гробом реально существует в виде тени, подобно живым существам, облеченным в более плотное вещество тела, то он неизбежно должен был

допустить и фактическую возможность такого вмешательства. Было естественно предположить, что тень, доведенная до крайнего возбуждения зрелищем земного происшествия, больно ранящего ее чувство, ринется на землю и делом, т. е. более или менее осязательно остережет или покарает своего обидчика. Мы видели, что мысль Пушкина о загробной жизни все время вращалась вокруг этой точки; из нее он исходил в своих отрицательных утверждениях: тень мужа должна была бы придти наказать изменившую ему молодую вдову, тень Ленского должна была бы придти напугать изменницу — Ольгу и ее мужа в их брачную ночь, тень барона должна была бы заступиться за кости барона, ухватив святотатца за ворот или погрозив ему костяным кулаком. И, наоборот, только в этой точке могла найти себе завершение и положительная вера Пушкина. Его отрицательное рассуждение исходило от факта: знаю, что муж, Ленский и барон не пришли с того света и не вмешались активно в земные дела, так явно касавшиеся их; следовательно, загробная жизнь личности есть пустой вымысел. Напротив, здесь он от веры приходил к факту: знаю, что личность остается за гробом живою и неизменною; следовательно, она неизбежно и стремится, и действует, когда чувство влечет ее к действию.

Мы видели также, как близко Пушкин в ряду своих положительных утверждений подошел уже к этому пределу. Он говорил нам о тенях летающих, скользящих, сидящих на земле, о тени, стоящей в дверях гробницы, наконец, даже о любовной ласке, которую дарит тень. От поцелуя до всякого другого физического действия оставался небольшой шаг. Но если и все эти положительные изображения перед судом холодного разума являлись бредом и безумием, тем безумнее должно было показаться повествование о тени действующей; и Пушкин замаскировал свой рассказ, чтобы заранее изъять его из под судимости. Я говорю о „Каменном госте“, где, прикрывшись средневековой легендой, он, наконец, насытил свое чувство, воплотил то предельное чаяние, которым пламенел его дух столько лет, — представил тень действующей. В образе командора, мстящего гибелью своему обидчику, воскрешены за гробом и Ленский, и барон, — воскрешен за гробом вообще человек и неизбежно утверждена вера в бессмертие личности. Этот образ — положительный полюс мысли Пушкина, как образы „юноши“, мужа молодой вдовы, умершего Ленского и барона — ее отрицательный полюс.

Но в эту самую минуту, когда положительная вера Пушкина достигла своей вершины, ее единокровный враг — его неверие, — разразился ей в лицо дьявольским хохотом. Едва

ли в летописях поэзии найдется еще другой пример такой злой, такой беспощадной автопародии, как «Каменный гость» и сочиненный одновременно с ним «Гробовщик», потому что они написаны на одну и ту же тему и, в пределах этой темы, умышленно по одному плану ¹⁾).

Дон Жуан

(статуе). Я, командор, прошу тебя прийти
К твоей вдове, где завтра буду я,
И стать у двери на часах.

„А созову я тех, на которых работаю мертвецов православных... Ей-богу, созову“, продолжал Адриан: „и на завтрашний же день. Милости просим, мои благодетели, завтра вечером у меня попить; угощу чем бог послал“.

Статуя

Я на зов явился.

„Видишь ли, Прохоров“, сказал бригадир от имени всей честной компании, „все мы поднялись на твое приглашение“...

Какую страшную душевную муку должен переживать за гробом командор! Что обида барона или загробная ревность Ленского! Видеть свою жену в объятиях другого — в объятиях своего убийцы — и знающей, кого она обнимает: вот пытка двойная, тройная. Здесь ревность, обида и жажда мести, слившись в одно пламя, гонят душу так яростно, что она, как конь, язвимый шпорами, перескакивает чрез предел — из царства теней в мир вещественный, и реально действует среди живых, уводит Дон-Жуана в преисподнюю. Здесь огненная мука разверзает могилу и загробный выходец подлинно жив. В «Гробовщике» ожившие мертвецы лишь мерещатся пьяному сновидению по пьяной прихоти наяву. И как осязательно, как ярко Пушкин изображает их мнимый приход, этот смешной сон пьяного гробовщика, *danse macabre* в карикатуре! Точно какая то сила подстрекала его злее, как можно злее высмеять свою пламенную веру, представить в наиболее комическом и пошлом виде небытие и пустоту того образа, который он так страстно лелеял, — образа живой тени. Что более всего утешало его

¹⁾ Они оба написаны осенью 1830 года, когда Пушкин, в связи с жгучими воспоминаниями о той умершей женщине, чей образ внушил ему тогда же „Заклинание“ и „Для берегов отчизны дальней“, так много углублялся мыслью в „тайны гроба роковые“. Конец „Гробовщика“ датирован 9-м сентября, конец „Каменного гостя“ — 1-м ноября. Но „Каменный гость“ был именно только закончен в эти дни, а задуман и начат, как известно, гораздо раньше, еще до марта 1828 года.

в земных невзгодах, то он кинул в грязь и злорадно топчет ногами. Не мстил ли он себе за самую потребность в загробном утешении? не устыдился ли на минуту своей трусости пред беспощадной правдою смерти? Но и здесь — какая смелость мысли!

Мне остается подвести итог рассказанному. Перед нами странное зрелище: на протяжении многих лет Пушкин высказывает попеременно два противоположных утверждения о загробной жизни. Читатель спросит, как и я сам спросил себя: возможно ли, чтобы разумный человек на один и тот же вопрос отвечал — и не раз — то „да“, то „нет“? Либо Пушкин верил в загробное переживание личности, либо нет; но как он мог в одно и то же время с равной убежденностью и верить и неверить?

На это недоумение я отвечу: человеческие „да“ и „нет“ не всегда исключают друг друга, но подчас и живут вместе. „Да“ и „нет“ Пушкина были подобны двум линиям, проведенным в разных плоскостях, и потому не пересекающимся. Его „нет“ представляло собою утверждение о факте. Оно говорило: человеческий опыт не знает никаких признаков загробного существования; никто никогда не видел тени умершего, никогда умерший не давал о себе знать в земных делах; поэтому нет никаких оснований думать, что личность остается живою за гробом. Это был приговор той инстанции, которая обобщает и ведает весь наш чувственный опыт, т.е. всю эмпирическую действительность. Против этого приговора, разумеется, нельзя спорить, — в своей узкой сфере он неопровержим. Совершенно иной и несравненно сложнее ход мышления привел Пушкина к его положительному утверждению. Человечество всегда верило в загробную жизнь и на своем длинном пути создало бесчисленные догадки о формах ее; и все эти образы, от грубейших до наиболее духовных, имели предметом и целью, конечно, не объективную истину, потому что и дикий человек понимал, что о загробной жизни мы не можем узнать ничего достоверного: эти верования имели своим предметом не загробную, но живую жизнь, они диктовались нуждами живого человека. Пушкинское „да“ родилось из такой же нужды. Мы видели: мысль о смерти предстала ему первоначально как вопрос о реальности, о подлинности, о смысле чувств и дум, обуревающих его здесь, живого. Одно из двух: если в смерти личность исчезает бесследно, если самое могучее чувство, волнующее меня сейчас, неминуемо будет смертью погашено, то мысль о его брен-

ности парализует меня сейчас, в самый миг его переживания. Именно так рассуждал Пушкин. Ему не было никакого дела до загробной тайны, но для него было в высшей степени важно осмыслить свою текущую, свою ежедневную жизнь в ее неразрывной связи с фактом предстоящей смерти. И так как его чувства были страстны, т. е. каждое в данную минуту утверждало себя с беспрекословной уверенностью, то его выбор был предрешен: он должен был освятить и укрепить свою стихийную душевную жизнь верою в ее бесконечную длительность. Иначе он не мог бы жить, — он был бы разорван надвое между необузданным самоутверждением своего чувства и безверием, в корне подрывающим это самоутверждение. И так, „нет“ и „да“ Пушкина были разнородны: там умозаключение из данных опыта, здесь умозаключение из потребностей воли. Там бесстрастно звучало: „загробной жизни нет“, здесь страстный голос упорно твердил: „хочу, чтобы личность переживала смерть, верю в бессмертие личности, — не могу не хотеть и не верить“.

Отсюда начался у Пушкина обычный, даже неизбежный процесс воплощения веры. Вера всегда рождается из воли в виде отвлеченного утверждения, но никогда не остается им: с самой минуты ее рождения в духе начинается ее преобразование. Сказано: „вера без дел мертва“; с таким же правом можно сказать: „вера без образа мертва“, потому что догмат веры не иначе наполняет душу, как облекшись в конкретные образы, как бы зерно ее, пав в воображение, родит в нем и организует фантастический мир или фантастическое существо, в основе их бытия совершенно отличные от внешней действительности, даже противоположные ей, но в конструкции и в механизме движений точно следующие ее законам. Так вера Пушкина облеклась в образ тени. Раз начавшись, этот процесс воплощения не может остановиться, пока не дойдет до конца, т. е. пока не придаст тому фантастическому образу всех признаков конкретности до полного уподобления предметному миру. Только в этой полноте образ веры действительно наполняет душу: он стал объективным, он мнимо-доступен восприятию всех внешних органов чувства, как любая вещь; он стал достоверным, как все, что мы видим и осязаем. Отвлеченное верование Пушкина: „личность жива и за гробом“ облеклось в образ тени, и этот образ, постепенно наполняясь жизнью, наконец, совершенно уподобился плотскому существу, живому человеку: тень чувствует, ходит, целует и действует.

Но в этой конечной точке вера снова оказывается лицом к лицу с действительностью, от которой она в начале отделилась.

Этой чувственно-воспринимаемой действительности теперь противостоит другая, тоже — только иначе — воспринимаемая действительность. Та не дает никаких показаний о тенях, в этой тени живут и действуют. Казалось бы, человек, находящийся в здравом уме, должен во что бы то ни стало сделать выбор — признать подлинную либо ту, либо другую. Внешний опыт неопровержимо свидетельствует, что все люди умирают; вера утверждает, что некогда был человек, который так и не умер, но жив поныне и будет жить вечно. Опыт убеждал Пушкина, что смерть разрушает не только тело, но и самую личность человека; вера упорно твердила ему, что личность остается живою после телесной смерти. Такие противоположности могут ли уживаться в сознании? Но таков всеобщий закон человеческого духа: вера и эмпиризм не только всегда сосуществуют, но даже и не могут существовать друг без друга, как в живом существе душа без тела или тело без души. Как видно, человек, хотя и бессознательно, но твердо знает, что у него есть два воспринимающих аппарата и, следовательно, два опыта, два познания: познание грубо-чувственное, в котором учтены лишь внешние движения вещей, и познание высшее и целостное, основанное на показаниях общего, несравнено более чуткого восприятия. Оттого он и верит эмпиризму, и не верит, руководствуется им в своей внешней и частичной деятельности, но и знает его целостную ложь и в душе противопоставляет его лживому образу мира иной образ мира, знаемый тайно, как подлинная действительность. И для Пушкина его „нет“ и „да“ в вопросе о загробной жизни были не двумя исключаящими друг друга положениями, но двумя истинами разного качества: одна — истиной рассудка, другая — истиной духа.

Так же двойственно, но с более ясным самосознанием и определеннее, чем Пушкин, думал о загробной жизни Гете. 19 октября 1823 г. он сказал канцлеру Мюллеру: „Для мыслящего существа совершенно невозможно представить себе небытие, прекращение мышления и жизни; постольку каждый носит в самом себе доказательство бессмертия, при том произвольно. Но лишь только человек захочет объективно выступить из себя и догматически доказать или понять продолжение личного существования за гробом, лишь только вздумает облечь то внутреннее восприятие в филистерский наряд, — он тотчас запутывается в противоречиях. И все же человека всегда влечет сочетать невозможное. Почти все законы — синтезы невозможного; например, институт брака. И это — благо, потому что только постулируя невозможное, он способен достигать невозможного“.

В этом умозрении Пушкина более всего поражает одна черта: его жажда именно личного бессмертия. Так называемое бессмертие души, т. е. безличное бессмертие, нисколько не интересовало его; повидимому, он приравнивал его к полному угашению жизни. Я не знаю в творчестве и в мировоззрении Пушкина ничего, что в такой степени характеризовало бы его, как эта черта: самоутверждение своей личности, какова она есть.